

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

СЕНТЯБРЬ

МОСКВА
1938

Последний выстрел

РАССКАЗ

П. РУСИН



Главные силы Хал-Ходжи стремились сходили с предгорий Памира в Ферганскую долину, обрастая по пути все новыми шайками басмачей. И утром 4 июня 1919 года первые басмаческие всадники — шестнадцать бывших военнопленных австро-германцев с двумя пулеметами, под командой обер-лейтенанта Цоггера, и сотня алайских киргизов — вступили в кишлак Мады. Внизу, в двенадцати верстах от кишлака, лежал город Ош, вытянутый длинной полосой вдоль берега реки Ак-Буры. Ближайший от Оша город Андижан был обложен басмаческими шайками Мадамин-бека. Вся Ферганская долина была наводнена басмачами, железные дороги и мосты разрушены. Безоружное тридцатитысячное русско-узбекское население Оша стало под удар Хал-Ходжи — самого вероломного и неумолимого из басмачей. Помощи ждать было неоткуда.

Вступив в кишлак, обер-лейтенант Цоггер распорядился разбить свою юрту в центре кишлака, под громадной густой кроной древнего карагача. В любых условиях боя, при самых неожиданных отступлениях, зимой и летом Цоггер не расставался со своей юртой. Получая от Хал-Ходжи ежемесячно тысячу фунтов стерлингов, кроме премий за удачные бои, Цоггер имел возможность нерушимо сохранять все свои привычки. Его длинное, худощавое тело немецкого дворянина требовало уюта и чистоты и надежной защиты от холода и солнца, — все это давала юрта — про-

стое и удивительное изобретение кочевника.

Пока развьючивали лошадей от двух станковых пулеметов, от ящиков с пулеметными лентами и от разного другого военного скарба, юрта Цоггера была приведена в порядок. Решетчатый деревянный остов был обтянут войлоком, пол застлан толстыми коврами, и на коротком древке повис над юртой черно-бело-красный военный германский флаг с черным квадратным крестом посередине. Два киргиза из личной охраны Хал-Ходжи, отданные в распоряжение Цоггера, встали у входа в юрту с десятизарядными ли-энфильдами.

Полусотня алайских киргизов ускакала вниз по горной дороге в сторону города Оша охранять подступы к кишлаку. Остальные всадники, расставленные на постах, начали нести патрульную службу. Один пулемет был оставлен Цоггером около юрты, для другого была выбрана на краю кишлака одна из плоских крыш, с которой хорошо обстреливалась дорога на Ош.

С минуты на минуту в кишлак Мады должен был в'ехать Хал-Ходжа. Юзбаши сотни алайских киргизов созвал кишлачных пятидесятников, приказал им собрать население Мады и выставить музыкантов и угощение для торжественной встречи Хал-Ходжи. Под строгой ответственностью тех же пятидесятников началась запись добровольцев.

Кишлачные музыканты готовились ознаменовать в'езд Хал-Ходжи, устро-

ившись на крыше самой большой чайханы на площади. Двое трубачей пробовали давно не употреблявшиеся полуторасаженные карнаи, обитые листовой желтой медью. По временам из широких раструбов вылетало оглушительное хрюканье. Барабанщик налаживал подогреваемый на углях гигантский катанагар, обтянутый воловьей шкурой и похожий на сорокаведерную кадушку, перевернутую вверх дном. Рядом подогревался такой же барабан, но немного меньших размеров. Изредка барабанщик со всей руки бил короткой дубиной в натянутую горячую кожу, и по кишлаку неслись мощные удары. Потом над всеми шумами взлетал неимоверно высокий писк, пронзающий все, — это свистун проверял пригодность бритвенно-тонких камышевых язычков на сурнае.

Сыгровка на мгновение прекратилась, когда на площадь влетело двое всадников с криками:

— Курбаши келяды! Хал-Ходжа кегян! (Командующий едет! Хал-Ходжа приехал!).

Обер-лейтенант Цоггер скомандовал своему отряду на-караул. Музыканты на крыше чайханы пустили в ход все свои инструменты, наводя страх на окрестных собак за три версты вокруг. В древности враги, заслышав такой оркестр, неминуемо приходили в замешательство.

Но музыканты только еще начинали входить в силу. Трубачи, с трудом подерживая свои длинные трубы, вспыхивающие медью, опускали их и поднимали, одновременно топчась на месте и делая полный круг. Рядом с барабанщиком, подвернув под себя ноги, сидел, раскачивая туловище взад и вперед, наконец оглушенный сурнаист. Тараща глаза и пузырями надувая щеки, он выводил немыслимо высокие ноты сложного мотива.

Первыми появились на площади бритоголовые всадники из личной охраны Хал-Ходжи в зеленых, с черными полосами, халатах и в ферганских черных тюбетейках, сдвинутых набекрень. Сбоку у каждого болталась короткая, кривая сабля кустарного изготовления и из-

за спины выглядывал ствол ли-энфильда.

Едва всадники успели занять проходы на площадь, как появился и сам Хал-Ходжа, на черном жеребце, во главе второй сотни своей личной охраны. Короткое, широкое туловище курбаши было закутано в нарядный яркорозовый халат с кисточками в разрезах для шага. Несмотря на жаркое июньское утро, он был в стеганой бархатной шапке, опущенной лисьим хвостом. Из-под шапки выглядывало бледное черношерстое лицо с небольшой полукруглой бородкой. За богато расшитым цветными блестками поясным платком торчала рукоятка револьвера скотт-веблей. К револьверу была пристегнута серебряная цепочка, спускавшаяся с короткой пухлой шеи, на которой дополнительно висел на красном шнурке костяной полицейский свисток. Нервный черный жеребец, с белыми от пыли копытами, норовил боком пронести Хал-Ходжу по площади. Курбаши слегка взмахивал камчой, стараясь концом ее попадать в самое щекотливое место под брюхом у жеребца. Конь рвался вперед, но, не получая повода, часто перебирал передними ногами, словно ступал по раскаленной земле.

Темп музыки участился. Казалось, самые сокрушительные горные обвалы и каменные осыпи с грохотом наваливались на кишлак.

Хал-Ходжа проехал в раскрытые ворота самого богатого в кишлаке дома Миркамыш-бая, что был рядом с самой большой чайханой. Туда же вскоре проследовало около десятка верховых женщин, жен курбаши, наглухо завернутых в серые паранджи. Самая молодая из них была тринадцатилетняя правнучка бывшей царицы Алая — Датхи. И, завершая везд Хал-Ходжи в кишлак, по площади пропылила сотня Поплавского — русские кулаки из-под Джелалабада.

Но главные силы курбаши находились пока еще на полпути от Лангара до Мады в широком ущелье, по дну которого течет река Талдык. Оставшиеся в ущелье ждали только приказа Хал-Ходжи, чтобы затем, оторвав своих ко-

ней от вольных трав и воды, в один переход покрыть расстояние до Оша, часы падения которого были уже сочтены.

★

Еще площадь дымилась от пыли, еще приехавшие не успели покурить на свободе, как на помостах чайханы появилась Хал-Ходжа в сопровождении своих приближенных. Курбаши торопились показать себя населению Мады. Он ожидал дополнительно получить от этого кишлака до двухсот джигитов. Сегодня он был в хорошем настроении, довольный донесением разведки, что передовые отряды алайских киргизов без выстрела подошли к предместьям Оша. В устье, где находились главные силы, уже полетел приказ — выступить на Ош.

Медленно опустившись на гору подушек, Хал-Ходжа принял наиболее выгодную, по его мнению, позу. Левой рукой он взялся за серебряную цепь, спускавшуюся с шеи, а правую небрежно положил на рукоять револьвера, заткнутого спереди за поясной платок. По одну сторону от курбаши уселся на ковре, неловко расставляя колени, худой и плоский англичанин, одетый в штатское, с легким пробковым шлемом на голове. Лицо англичанина, стиснутое в скулах, было крупно и худощаво. Ушные раковины его до того были велики, что пробковый шлем, казалось, держался не на голове, а на ушах. За спиной англичанина разместились три вооруженных сипая в зеленых обмотках и в коротких штанах, не доходящих до колен. По другую сторону от Хал-Ходжи сел грузный Миркамиль-бай в пухлом цветастом халате. Это был тот самый Миркамиль-бай, про которого говорили, что если за время пути от Мады до Оша задать десять вопросов: чья это земля? — то в пяти случаях следовал ответ: земля Миркамиль-бая. Здесь же сидел, стараясь держаться ближе к курбаши, сын джелал-абадского кулака, ташкентский юнкер и командир русской сотни Поплавский. Он был известен тем, что всюду возил с собой рослую молодую Марфушу, которую иногда уступал своим приятелям за бутылку английского рома

или просто проигрывал ее Цоггеру в шахматы на одну ночь.

При появлении Хал-Ходжи не успевшие отдохнуть музыканты снова ударили на весь кишлак. Попросив подоткнуть ему сзади еще одну подушку, курбаши снял шапку с бритой головы и остался в ферганской тюбетейке с четырьмя белыми запятыми по черному полю. Не поворачивая шеи, он быстро обежал площадь своими маленькими черными глазами. Всадники из сотни личной охраны надежно запирали все входы с улиц. За всадниками толпилась кишлачная беднота — старики и пожилые узбеки, пришедшие по приказу пятидесятников. На деревьях и на крышах соседних с площадью домов виднелись любопытствующие узбечата в оборванных халатах. Но в кишлачной толпе не видно было молодых узбеков, скрывшихся, по обыкновению, от басмаческой мобилизации в горных закоулках вместе с лошадьми. Глаза курбаши злое еще загорелись, и он перестал смотреть на площадь.

Когда музыканты выбились из сил и смолкли, это и обозначило конец торжественной части. Сейчас же, не медля, к помосту, на котором восседал курбаши, подступили всевозможные докладчики, наблюдатели, доносчики, просители, ходоки, осведомители и исполнители распоряжений Хал-Ходжи. Но через шерстяную веревку, проходящую у самого помоста, можно было перешагнуть и приблизиться к курбаше только с разрешения первого юзбаши его личной охраны.

И лишь в тех редких случаях, когда Хал-Ходжа поднимал свой пухлый короткий палец и сам манил нужного ему человека, юзбаши не отвечал за перешагнувшего веревку.

Первым был допущен конюх курбаши. Конюх сообщил, что его любимый жеребец вычищен, хорошо ест ячмень и затем получит сухой клевер, сбрызнутый родниковой водой.

Внимательно выслушав конюха, Хал-Ходжа сказал:

— Джудю якшй (очень хорошо), — и велел показать ему коня.

Затем приблизился к помосту бело-

бородый старик, наблюдающий за женами курбаши. Припав к уху Хал-Ходжи, старик что-то долго стал нашептывать.

— Хошь! (Пусть будет так), — сказал Хал-Ходжа, самодовольно улыбаясь и отстраняясь от старика в знак окончания доклада.

В это время к помосту чайханы подвинули поджарого жеребца с широкой грудью и низко осажженным задом. Черная шерсть его, протертая тряпкой, блестела на солнце, как антрацит. Проскакавший около всадник взволновал жеребца, — он зашевелил вывернутыми ноздрями и заплясал на месте, пытаясь вырвать у конюха повод.

— Булды инды! (Довольно, хватит), — беспокоенно сказал Хал-Ходжа, махнув рукой, чтобы увести жеребца.

Последующих докладчиков и просителей курбаши едва выслушивал, давая им короткие и общие, а потому и безошибочные ответы. Но каждому, говорившему с Хал-Ходжей, казалось, что этот ответ был приготовлен только для него.

Наученный английскими инструкторами, Хал-Ходжа в совершенстве постиг нехитрую политику: разделяй и властвуй. Под строгой тайной он обещал киргизам отдать их земли, захваченные русскими кулаками. Узбекам он предназначал выделить богатые выпасы вокруг кишлаков за счет киргизских земель. Ходоков от русского кулачества он заверял, что их земли останутся за ними навечно. Всем же вместе он говорил, что для всеобщего блага надо, прежде всего, уничтожить ядовитое племя туртынчи (большевиков). Слабодушных своих соперников Хал-Ходжа держал в страхе, счастлюбивым бросал подачки, сильных — лишал власти и головы. И за год басмачества удача не изменяла курбаше.

Вокруг помоста продолжали толпиться перед курбашей жаждавшие перешагнуть веревку. Но среди них уже не было крупных дельцов — все они прошли раньше, остались лишь мелкие фискалы и сплетники, которых долго допрашивали, прежде чем допустить.

Под конец приема Хал-Ходжа начал

заметно дремать. Может быть, он уже видел себя повелителем Памиров от Афганистана и до Китая. Иногда он будто бы отгонял дремоту, подымал припухшие веки и коротко давал ответ, смешивая дела трех просителей сразу. Или же вдруг заносил такое, что кишланных пятидесятников, оставшихся в последней очереди, охватывала невольная дрожь. Юзбаши личной охраны, учитывая момент, объявил прием отложенным и тут же сообщил Хал-Ходже, что сейчас немец начнет учить своих солдат на площади.

— Джарман? (Немец?), — оживляясь, переспросил Хал-Ходжа. — Хоп! (Ладно!).

И он сделал затяжку из урчащего чилима, переместился на подушках и искося, самодовольно взглянул на англичанина. Курбаши гордился своими немцами с двумя пулеметами — грозой плохо вооруженных партизанских отрядов. Но англичанин не заметил многозначительного взгляда Хал-Ходжи и продолжал равнодушно сосать сигару с золотым пояском на утолщенной середине.

С противоположного конца площади из-за угла мечети показался отряд Цоггера со вскинутыми на плечо винтовками. Отряд быстрым, мерным шагом вышел на площадь, на ходу выстраиваясь в одну шеренгу.

— Джарман-ляр! (Немцы!) — пронзительно закричал узбеченок на крыше, на четвереньках выглядывая из-за снопов сухой люцерны.

Когда шеренга дошла до середины площади, обер-лейтенант Цоггер поднял руку в белой перчатке, и люди, взметая пыль, в тридцать два сапога стали отбивать шаг на месте.

Все шестнадцать бойцов были испытанными фронтовиками, захваченными в плен во время наступления русских под Луцком. Лица венгерцев, австрийцев и немцев были одинаково коричневыми от постоянных горных ветров, яркости солнца и сухости воздуха. Все они, брошенные эсеровским командованием на произвол судьбы во время голода в 1918 году, ушли на службу в басмаческую шайку в погоне за горячей лепешкой и жирным куском баранины. Они

считали тогда, что поступают честно — за хлеб рискуют жизнью.

Рослый правофланговый, венгерец, пулеметчик Кароле Басш, хмуро смотрел перед собой и, казалось, едва шевелил своими длинными ногами. В прошлом году, зимой, его, распухшего от голода, товарищи на руках унесли из скобелевских лагерей в кишлак Уч-Курган, где и был тогда сформирован отряд под командой Цоггера.

Рядом с правофланговым, добросовестнее всех поднимая ноги, отбивал шаг на месте немец Иоганн Клеве — майнский батрак и кавалер Железного креста. На серой суконной куртке его еще не успела выцвести свежая тень. Иоганн Клеве имел право входить в юрту оберлейтенанта Цоггера без доклада в любое время дня и ночи. Но этим правом он никогда не пользовался, чтобы не возмущать товарищей по отряду.

Шеренга, держа равнение, будто по нитке, продолжала отбивать шаг на месте. Цоггер решил показать сегодня перед Хал-Ходжей и приехавшим англичанином полный курс военной выучки своего отряда. У Цоггера была затаенная мысль, что, быть может, еще сегодня, до боя под Ошем, он сумеет получить от Хал-Ходжи свой очередной месячный оклад. «Я должен убедить этого дикаря, — автоматически шевеля губами в такт шагу шеренги, думал Цоггер, — что мои фронтовики с двумя пулеметами стоят больше, чем все его скопище».

На левом фланге, едва подымая ноги, вяло отбивал шаг рядовой 103 австро-венгерского полка, тирольский горняк Штанге. Цоггер не любил этого маленького австрийца, который еще ни разу не обратился к нему, как к командиру отряда.

— Эйнс-цвей, эйнс-цвей, — высоким голосом стал подсчитывать Цоггер, оживляя шеренгу.

Шаг на месте стал отчетливее и громче, нагнетая упрямый маршевый ритм. Лессовая пыль ползла из-под ног марширующих, закрывая шеренгу густым белым облаком. Только граненные штыки русских винтовок, мерно вздрагивая, искрились на солнце. Цоггер вывел ше-

ренгу из пыльной полосы и скомандовал:

— Фейер! (Огонь!).

Последовал залп-салют, и шеренга, подхлестнутая командой: «лауф» (бегом), бросилась вперед, ошетинив штыки. Среди телохранителей Хал-Ходжи произошло движение, сипаи за спиной англичанина ниже опустили стволы люйюисов. Шеренга, оставляя за собой дымную полосу, шумно и часто отбивала шаг и приближалась к помосту чайханы. Когда разгоряченные, потные и грязные от пыли лица солдат появились у помоста, тучный Миркамиль-бай торопливо поднял пухлую ладонь и испуганно крикнул:

— Тохта! Э! (Стой! Ну!).

Издаেকে послышался голос Цоггера: — Хальт! (Стой!).

Солдаты замерли, перехватив винтовки на-караул.

— Не шеренга — струна, прямо цирк, — с видом бывалого фронтовика сказал юнкер Поплавский, оборачиваясь к англичанину.

В следующее мгновение, повернувшись кругом, шеренга ускоренным маршевым шагом отошла опять на середину площади.

Нестерпимо жаркое солнце вступало во вторую половину дня, оглушая все живое и иссушая травы, выросшие за ночь. Металл винтовок под открытым небом жег пальцы, раскаленный воздух сушил губы, и язык во рту прилипал к сухому небу.

На помосте уже готовились встать, ожидая лишь, когда первым поднимется Хал-Ходжа. Но курбаши терпеливо сидели на подушках, желая показать англичанину свою по-европейски обученную часть.

Солдаты, пройдя по площади змейкой, журавлиной стайей и полукругом, замкнули строй в каре и продолжали итти до тех пор, пока не раздался на всю площадь истерический выкрик Цоггера:

— Козакен! (Казак!).

После боя под Гумбиненом Цоггер не мог спокойно произнести это слово.

Движущееся каре замерло и мгновенно перестроилось: шестеро легли в

пыль, пять приготовились с колена, и остальные пять прицелились стоя. Получился донельзя сжатый строй в густой щетине штыков. Цоггер взмахнул рукой — раздался залп.

— Рингс херум! (Кругом!) — фальцетом крикнул Цоггер.

Щетина штыков обернулась в другую сторону, и опять — взмах руки и залп. Узбечата на ближних крышах от страха ринулись на землю, обдирая об кусты руки и халаты. Это была последняя, заключительная сцена, в которой Цоггер показал, как надо отбиваться от наседающих со всех сторон казаков.

Когда отряд стал уходить с площади, Цоггер заметил, как левофланговый, отстав и ковыляя не в ногу, волочил за собой винтовку по земле. Белки светлых, волчьих глаз обер-лейтенанта подернулись кровавой сеткой. Он остановил отряд и скомандовал:

— Штанге, ко мне!

Левофланговый повернулся и медленно стал приближаться к Цоггеру, оставая в глубокой пыли длинно прочерченные следы от едва поднимаемых сапог. Не доходя до Цоггера двух шагов, Штанге остановился и опустил приклад в пыль. Мертвенно-бледное, худое и небритое лицо тирольского горняка окаменело, и только сухие, потрескавшиеся до крови губы вздрагивали и шевелились, будто левофланговый повторял про себя подсчет на сложной маршировке. У Штанге был очередной приступ тропической лихорадки.

— Что это значит? — повелительно спросил Цоггер.

Штанге молчал, мрачно разглядывая сухими, воспаленными глазами пыльную пуговицу на френче обер-лейтенанта.

— Я спрашиваю?! — повысил голос Цоггер.

Штанге с болью сделал глотательное движение, но во рту не было ни капли слюны.

— Перед кем стоишь? — закричал Цоггер, сжимая в кулак длинные пальцы, затянутые в белую перчатку.

Штанге развернул плечи, втянул в себя подбородок и тихо сказал, не глядя на Цоггера:

— Я болен, герр обер-лейтенант.

Чайхана опустела, зрители покинули места, направляясь за Хал-Ходжей в ворота дома Миркамыш-бая. Цоггер заторопился.

— На место! — сказал он Штанге, и подал команду отряду: — Разойдись!

Забыв в чайхану, Цоггер наскоро сполоснул лицо, заставил чайханщика, убиравшего посуду, обмести пыль с френча, вытер чистым полотенцем каску, кобуру, сапоги и, посмотревшись в карманное зеркало, торопливо пошел к дому Миркамыш-бая, чтобы успеть занять место на обеде рядом с Хал-Ходжей.

★

Всю вторую половину дня кишлачная площадь, знаменитая когда-то своими шумными базарами, оставалась безлюдной под отвесно палящими лучами солнца. Две сотни аскеров личной охраны Хал-Ходжи попрятались от солнца в чайханах, устроив коновязи в ближних садах. Сотня русских кулаков изпод Джелал-Абада и австро-германцы расположились под навесами каравансарая вместе с лошадьми. Но под навесами и всюду в тени людей наступала мертвая духота, отнимающая мысли и желания.

И только с первой вечерней звездой поднялась жизнь. На смену неподвижной, отупляющей жаре пришел едва заметный, ленивый, но живой ветерок.

Отяжелевший теплый мелкий лёсс толсто лежал в глубоких и узких улицах Мады. Из-за каждого кишлачного дувала доверчиво свисали крупные вырезные листья шелковицы и карагача в серых рукавицах пыли. Даже недостижимые вершины вечных снегов, затянутые сумерками, розовели и казались теплыми. Внизу над долиной остывало и темнело жаркое ферганское небо с узкой полосой перистых облаков, еще продолжавших гореть в вышине.

Во дворе каравансарая около самого большого навеса ярко пылал огонь под большим казаном, где готовился плов для русской сотни. Отдельно от русских, в углу двора, близ своей коновязи, готовили себе ужин военнопленные.

Обязанности кашеваго выполнял самый молодой в отряде Цоггера, австриец Блоссер, за что освобождался от ночных дежурств по коновязи и у пулеметов. Со своим делом Блоссер справлялся быстро и ловко. Когда в котле у русских еще доваривалась баранина и не запускался рис, австро-германцы уже кончили ужинать и вытирали клочками чистой ваты свои алюминиевые ложки и перочинные ножи.

Тирольский горняк Штанге отказался от ужина, и его порция осталась нетронутой. После занятий на площади горняка Штанге привели в караван-сарай под руки, и теперь он лежал в жару, едва признавая своих товарищей. В углу под навесом для больного сделали постель из сухой люцерны, положили ему на лоб мокрую тряпку и часто меняли ее, обмакивая в конское ведро с теплой и мутной водой из хауза.

После ужина, когда совсем стемнело, зажгли под навесом свет в двух черепках с хлопковым маслом. Один черепок поставили на землю у изголовья больного, другой — на ящик из-под пулеметной ленты. Около ящика кто-то постелил вытертую, заплатанную шинель и бросил на нее колоду заигранных пухлых карт. Принесли по снопу люцерны и сели в кружок. Но через несколько слач все увидели, что игра не клеится. Карты бросали зря, лишь бы сделать ход, в конце распасовки оказывалось, что у одних на руках больше карт, чем у других. Когда очередь сдавать дошла до Кароле Басша, он почти всем сдал разное количество карт, а при пересдаче напутал еще больше.

— Ах, товарищи, товарищи!.. — зажимая в кулак грязные карты, задумчиво сказал Кароле Басш.

Он еще что-то хотел сказать, но, взглянув на Иоганна Клеве, на отчетливый рисунок креста на его куртке, нахмурился и спросил:

— Дежурным у пулеметов отнесли ужин?

— Отнесли, — коротко ответил Блоссер.

Наступило томительное молчание, которое в эту ночь перед боем было выразительнее и серьезнее, чем слова.

Тьма безлунной субтропической ночи, быстро сменившая ослепительный день, вселяла беспричинную тревогу. Беспокойно отдавался в сердце несмолкаемый глухой шум, наплывающий из глубины темного двора, где лошади на коновязях фыркали, тяжело вздыхали, переступали с ноги на ногу, лязгали железом и с непрерывным хрустом жевали сухую люцерну. Над черным двором повис кусок тревожного неба с крупными мохнатыми звездами.

Далеко от родных мест, среди чужих гор, под чужим небом людей коснулась одна тоска, говорящая одним, всем понятным языком.

— Споем? — по-венгерски спросил Кароле Басш.

— Споем, — ответил австриец Блоссер.

— Про родину, — сказал по-немецки Иоганн Клеве.

И все понимали друг друга.

Блоссер, несравненный запевала в отряде, чувствуя на себе ждущие взгляды, начал высоким голосом, таким простым и таким обыкновенным, что казалось, каждый мог бы так спеть:

Товарищ, я слышал во сне,
Как мать меня кличет по имени.

Пел Блоссер тенором, высоко взмывая над хором, повторявшим его слова. И по темному двору караван-сарая поплыл печальный и гибкий мотив любимой песни военнопленных. Иоганн Клеве вел свою партию низким вторым голосом, то отставая, то догоняя и сливаясь с высоким голосом Блоссера.

— Нет, — тоскливо вскрикивал Клеве и протяжно повторял:

Не-ет, не забуду прощальный тот взгляд.

Когда все подхватывали припев, то выделялся голос Кароле Басша, выстилавший густым широким басом:

Милая моя, родная сторона.

В другом конце караван-сарая, где разместилась под навесом русская сотня, слышались выкрики:

— Слышь, камрады, перестаньте скучить, без вас тошно.

— Завтра в Оше напоемся.

— Эй, камрад, перцу тебе в зад, — визгнул из темноты чей-то молодой, звонкий и озорной голос.

— Не ори, дурак-самоучка, — видишь, люди тоскуют. Ты знаешь, за что бьешься, а они за что? Не трог их, поскулят и перестанут.

Но военнопленные не слышали русских и продолжали петь. Вдруг Иоганн Клеве, сидевший лицом к открытой стороне навеса, мгновенно оправил на голове бескозырку, вскочил, вытянулся и оглушительно крикнул, не соразмеряя голоса:

— Смирно!

Сидевший на земле Кароле Басш оглянулся и увидел над головой шинель мышиного цвета, козырек каски и лакированный чешуйчатый ремень под подбородком. Он вскочил так же быстро, как и Иоганн Клеве. В полосе света стоял обер-лейтенант Цоггер.

— Приказываю прекратить пение и не давать дурного примера другим, — сказал Цоггер, сдвигая брови и вывертывая нижнюю губу так, что она почти соприкасалась с подбородком.

— Слушаемся, герр обер-лейтенант, — отчеканивая каждый слог, ответил за всех Иоганн Клеве.

— Приказываю погасить свет и спать, не раздеваясь.

— Слушаемся, герр обер-лейтенант, — опять ответил Клеве за всех.

Когда Цоггер ушел, Кароле Басш посмотрел на Блоссера и повел глазами в сторону, куда ушел обер-лейтенант. Блоссер понимающе подморгнул и вышел из-под навеса.

Погасили свет, запахло паленой ватой. В темноте слышалось шуршанье сухой люцерны, расстилаемой по полу; в нос ударила едкая щекощущая пыль.

— Пить, — слабым голосом попросил Штанге.

Его напоили теплой водой с запахом бараньего сала, но зато вода была кипяченая.

— Клеве, — позвал Кароле Басш, — ложись со мной; я на двоих постелил.

— А на меня хватит места? — спросил вернувшийся Блоссер.

— Хватит и на тебя.

Все трое, расстелив шинели поверх

хрустящей люцерны, улеглись один возле другого.

— Он ушел к себе в юрту, — вполголоса сообщил Блоссер.

Кароле Басш сказал намеренно громко:

— Ну, и чорт с ним! Тут поважнее дело есть. Кто там крайний, поставьте на всякий случай ящик у входа. — Кароле Басш зажег папиросу. — Ребята, слух подтвердился: в Венгрии установлена советская власть. Ты слышал об этом, Клеве?

— Слышал, — тихо ответил Иоганн Клеве.

На минуту темнота стала безмолвней. Мелькнула и остановилась искра, примерно увеличиваясь в объеме и яркости; кто-то из кутивших сделал длинную затяжку.

— А ты слышал, Клеве, как Франц-Иосифу дали под задницу? — задал вопрос Блоссер.

— Слышал, — еще тише ответил Клеве.

— Это что, — будто со двора донесся голос, — а вот у нас кайзер и этого не стал дожидаться и задал стрекача из Германии. А об этом ты слышал, Клеве?

Это говорил дежурный по коновязи баварец Пфефер, бросивший лошадей без присмотра, чтобы послушать, что говорят под навесом.

— Пфефер, иди на свое место и гляди в оба, — строго сказал Кароле Басш дежурному по коновязи.

Иоганн Клеве был немолодым фронтовиком и знал, что такие разговоры перед боем ведутся не спроста. Но он еще не понимал, чего от него хотят.

— Да-а, жаль мне тебя, Клеве, — сказал Кароле Басш, — выслуживал, выслуживал кайзеровский крест, а теперь он ни к чему.

Иоганн Клеве видел, что Кароле Басш гнул в определенную сторону, — он, Иоганн Клеве, должен объяснить что-то, что было неясно для остальных, повидимому, принявших какое-то окончательное, но скрываемое от него решение. Чутье подсказало Иоганну Клеве, что все надо говорить начистоту. Такие разговоры на фронте перед боем кончались иногда пулей в спину при первой же

атаке тому, кто не внушал доверия и мог провалить задуманное большинством. В отряде мало знали Иоганна Клеве, который все время находился при Цоггере вроде денщика и не жил в вонючем лагере для военнопленных.

— Нам необходимо тебя послушать, Клеве, — сказал Кароле Басш. — За что ты все-таки получил крест?

Если бы осветить в этот момент Иоганна Клеве дневным светом, то все увидели бы, как от волнения он задохнулся, как он снял свою серую, истрепанную бескозырку, вытер ею пот, проступивший на лице и даже на шее.

— Моя совесть чиста, товарищи, — сказал Клеве. — Я расскажу вам про крест.

— Говори, — отозвалось несколько голосов.

— Крест я получил за дело под Гумбинином 20 августа 1914 года. Произошло это так. К вечеру русские неожиданно, без артиллерийской подготовки, пошли в наступление, а казаки обогнули нас с левого фланга. Удар был настолько отчаянным, что все смешалось, и мы, бросая окопы, побежали с криками: «Казаки! Казаки!». Казаки загнали нас в болотную топь, единственным проходом через которую была узкая гать из набросанного хвороста. Получилась пробка из бегущих, справа били пулеметы, слева — наседали казаки. Было совсем темно, когда я, опомнившись, я полз через раненых и убитых, за полы шинели меня хватали сорвавшиеся в болото и умоляли о помощи. Я продолжал ползти, крепко цепляясь за хворост, обдирающий руки. Наконец, я выполз на твердую землю и отдышался. По болоту били шрапнелью. Из тьмы неслись стоны, проклятья и мольбы о помощи. Совсем близко от меня раздался крик: «Товарищи, спасите во имя родины». Я бросился бежать, но крик становился все слышнее, будто он гнался за мной. И тут во мне заговорила совесть. Я вернулся к болоту и, выбрав момент, когда не было шрапнельных разрывов, крикнул: «Я здесь, товарищи». И, так переключаясь, я дополз до человека, уже наполовину засосанного трясиной. Настелив хвороста

вокруг, я вытащил его. Он не мог идти и терял сознание. Я взвалил его на плечи и понес. Выполнение долга дало мне силу. «Во имя родины», говорил я себе. И через час пути со многими остановками я наткнулся на нашу конную разведку. Нас обоих доставили на перевязочный пункт. Человек, которого я спас, был офицер гснерального штаба — Цоггер. У него была пустьковая рана в мягкую часть бедра. Я получил крест и с тех пор считаюсь прикомандированным к Цоггеру по его просьбе перед высшим командованием.

— Отчего же ты крест не носишь, а говорят, в Скобелеве ходил с крестом?

Иоганн Клеве долго молчал, будто обдумывая, как ответить, потом сказал:

— Крест я перестал носить. Такой случай вышел. Весной прошлого года Цоггер с одним австрийским полковником выпивали как-то вечером. Потом Цоггер дал мне денег, велел в аптеке купить принадлежность и привести для них с полковником дешевую потаскушку из городского сада. Я, может быть, и не ослушался, если бы тут не было австрийского полковника. Я сказал Цоггеру, что не могу выполнить такое поручение, и положил деньги на стол. Цоггер ударил меня в лицо. Я сказал, что он не имеет права, на мне орден Железного креста. Тогда он ударил меня другой раз. Я ушел из города в лагерь военнопленных. На другой день Цоггер разыскал меня там, много извинялся, и... я вернулся.

— Напрасно, — с нескрываемым сожалением сказал Блоссер, — хороший ты, как видно, парень, а тут оказался дерьмом.

— Не совсем так, — сказал Клеве, — тут была причина важнее моего оскорбления. Цоггер открыл мне свой план, что, как очистятся перевалы, он обязательно уйдет в Афганистан, в Кабул, и что я ему необходимый в этом человек. На этом условии я согласился, на условии: попасть на родину.

— Чорта с два! — торопясь и повышая голос, заговорил самый молчаливый в отряде австриец Дитмар с обвисшими светлыми усами, которых не видно было теперь в темноте.

Дитмар три года обдумывал план побега на родину и по праву считал себя специалистом в этом вопросе.

— Прекратить мальчишеские бредни, отставить! — горячился Дитмар. — Во-первых, таджики берут за доставку одного человека до границы Афганистана шестьсот фунтов стерлингов, да лошадь, да продовольствие, да теплая одежда для горных перевалов, да надо доехать до Кабула, да в Кабуле будешь пять лет зарабатывать деньги на дорогу, да...

— Стой! Повернись! Но! — послышался на дворе голос Пфефера, по-немецки кричавшего на лошадь.

— Затем, во-вторых...

— Дитмар, замолчи! — вполголоса крикнул на него Блоссер.

— Вам же, молокососам, объясняю... — прошептал Дитмар, не в состоянии остановиться на полуслове.

— Но! Повернись! — неистовствовал на весь двор дежурный по коновязи.

— Замри, ребята, Пфефер дает сигнал, — скороговоркой предупредил товарищей Кароле Басш.

У входа под навес послышался шум упавшего ящика, и раздался злой голос Цоггера:

— Почему на дороге ящики? Зажечь свет!

В разных местах в темноте вспыхнули спички. Люди поднимались на ноги, в черепке загорелся ватный фитиль, и мгновенно возникли всюду живые, вздрагивающие тени. Оттолкнув ногой ящик, Цоггер остановился и заложил руку за борт шинели.

— Приказываю седлать, — сказал Цоггер, делая большую паузу. — Через восемь минут быть готовыми к маршу.

В манере Цоггера говорить только в повелительном наклонении, в оттопывании нижней губы, в лице, в позе, во всей его высокой, худощавой фигуре дышал непреклонный деспотизм, вызывающий инстинктивное сопротивление даже у самых смиренных.

Иоганн Клеве заученно отчеканил свое обычное:

— Слушаемся, герр обер-лейтенант.

Когда Цоггер ушел, австро-германцы бросились к своим лошадям, молча сед-

лали в темноте и молча бежали под навес за забытыми вещами.

Русские с шумом и ругательствами седлали своих коней. Кто-то угрожающе кричал:

— Отдай, говорю, тренчик, а то я у тебя все поотрезаю!

— Я тебе, занюханный, поотрезаю. Отойди!

— Господин голковник, у меня темляк переменили, вместо офицерского ременный привязали.

— Разговоры кончить! Шевелись! — разносился на весь двор караван-сарая голос юнкера Поплавского.

И, когда русская сотня тронулась со двора, отряд Цоггера уже стоял на краю площади в полной готовности, выстроившись справа по три.

Через площадь непрерывным шумящим потоком двигались узбекские и киргизские конники. Это шли на Ош главные силы Хал-Ходжи из урочища Талдык, что было на полпути между Лангаром и Мады. Невидимая в темноте густая пыль туманила звезды над площадью и осыпала лица и руки, нежно трогая кожу, будто по ней полз ветерок.

Объезжая строй своего отряда и проверяя, как завьючены пулеметы и юрта, Цоггер обнаружил в задних рядах оседланную лошадь без всадника.

— В чем дело? — нетерпеливо спросил Цоггер.

Он еще не рассмотрел в темноте, что это была лошадь больного Штанге, которого в самодельных носилках из шинелей держали двое в предпоследнем ряду. Штанге ослаб, и товарищи решили посменно нести его на руках до Оша, где можно было достать хинин и помочь больному.

— Отставить эти выдумки, — приказал Цоггер. — Передать больного местному населению, оружие и лошадь взять с собой.

Пфефер и Дитмар спешили и отнесли больного в чайхану. Они положили Штанге на ближайший помост и покрыли шинелью маленькое, худое тело левофлангового.

— Совсем оставляете? — спросил Штанге.

— Мы вернемся за тобой, — сказал Пфефер.

— Вернемся, — подтвердил молчаливый Дитмар.

И, поцеловав мокрое от слез лицо больного, они торопливо отошли в строй.

Послышалась разноязычная команда, покрываемая певучим голосом юнкера Поплавского:

— Шагом ма-арш!..

Аскеры личной охраны Хал-Ходжи первыми тронулись с площади, исчезая в узкой, под гору идущей улице. За ними двинулся отряд Цоггера, в тыл которому заходила русская сотня.

★

Ранним утром, когда край солнца едва высунулся из-за снежных хребтов, Хал-Ходжа отдал приказание о привале. И беспорядочно движущийся под гору извилистый поток конников остановился в глубокой лошине с каменным дном. Впереди был последний холм, закрывавший вид на город Ош.

Хал-Ходжа взехал на холм в сопровождении своих помощников и военачальников. Внизу вдол, реки Ак-буры длинной полосой вытянулись сплошные сады, застилая постройки и сливаясь на горизонте в плоский синеющий лес. И только высокие пирамидальные тополя возносились над массивами зелени и стояли выпукло, как живые, окружая подножие темной одинокой скалы Сулейман-Тахта.

На вершине холма Хал-Ходжа оставил своего черного запыленного жеребца. Цоггер услужливо протянул командующему мусульманской армией цейсовский бинокль. Хал-Ходжа отстранил бинокль, — в этом море зелени он простым глазом узнавал пушистые ветлы, серебристые тополя, темную окраску тутовника, шарообразные карагачи и белую листву джиды. Сзади из лошины доносился до Хал-Ходжи разноязычный говор, иногда покрываемый вскриком, командой или ржанием коня; впереди лежал беззащитный Ош — восточные ворота Ферганской долины и узел всех арбных и вьючных

дорог для караванов, идущих в Китай и обратно.

Хал-Ходжа нетерпеливо переместился в седле, запахивая и прижимая коленом выбившуюся полу халата. Бледное чернотерстое лицо его оживилось волнением близкой удачи. Под пушистой лисьей шапкой, низко надвинутой на лоб, возбужденно заблестели маленькие, черные хитрые глаза. Не дожидаясь конца привала, он велел юзбаше первой сотни личной охраны немедленно выехать вперед для передачи письма коменданту крепости.

Юзбаша, высокий худой узбек из Ханабада, взял из рук Хал-Ходжи письмо, осторожно завернул его в широкий поясной платок и произнес: какую-то сложную команду. Из головы колонны выдвинулась полусотня с кривыми шашками и ли-энфильдами, дула которых были заткнуты от пыли клочками ваты. Полусотня тронулась, шелкая подковами по крупному щебню, и сразу пошла на рысях.

Проводив отъезжающих длинным взглядом, Хал-Ходжа оглянулся на своих приближенных и улыбнулся той, едва заметной, своей улыбкой, которая больше была похожа на сдерживаемый оскал хищника, желающего казаться безобидным. В своем письме Хал-Ходжа извещал коменданта крепости, что он переходит на сторону советской власти, и просил сообщить об этом высшему командованию Ферганской области.

После короткого привала конное скопище снова пришло в движение, огибая подошву холма и устремляясь в узкое горло лошины, выходящей на покрытое высохшей травой плато. Уже головные отряды, застилая город пылью, достигли площади перед крепостью, а из лошины только начинали показываться киргизские конники, вооруженные серпами, самодельными пиками и дубинами с гвоздями. Это были наиболее фанатично настроенные, идущие под зеленым знаменем газавата — священной войны против русских до полного их истребления. Русских они себе представляли по 1916 году, когда царские войска залили кровью все земли восставших кочевников. Хал-Ходжа, разжигая фанатизм

голодных киргизов, пользовался ими как живым заслоном при наступлениях.

Киргизы заняли всю площадь перед крепостью и клином — между крепостью и тополевой рощей — выдались к реке. За рощей, среди мелкого кустарника, расположилась личная охрана Хал-Ходжи и сотня юнкера Поплавского. Шестьсот алайских киргизов, вооруженных ли-энфильдами и клинками, были размещены в садах, закрытых постройками со стороны крепости. Мелкие отряды расползлись по русской и азиатской части города до самого Сулейман-Тахта в поисках фуража, продовольствия и всего, что попадется под руку: золото, дорогой ковер, шелковый халат, молодая женщина...

Самая горячая работа досталась оберлейтенанту Цоггеру. Он должен был разместить пулеметы так, чтобы они могли обстреливать и крепость и западную дорогу к крепости. Один пулемет и шестерых военнопленных для прикрытия Цоггер замаскировал на краю рощи, недалеко от своей юрты. Другой пулемет с десятью военнопленными для прикрытия были спрятаны на плоской крыше под ветвями высокого тутовника, откуда хорошо обстреливались крепостные ворота и большая часть плато.

В тополевой роще рубили деревья. Привезенные из азиатской части города узбекские плотники делали длинные лестницы для штурма крепостных стен. На площади перед крепостью были схвачены два местных узбека — агитаторы, поздравлявшие киргизов с переходом на сторону советской власти. Хал-Ходжа приказал схваченных узбеков забить палками, как изменников исламу.

В большой белой юрте Хал-Ходжи были высоко подняты кошмы с теневой стороны. В юрте шел пир. С мраморных блюд работы риштанских мастеров брали коричневыми руками, засученными по локоть, ферганский плов, со свистом втягивали в рот прилипавший к пальцам жирный рис. Хал-Ходжа торжествовал. Его хитрость, рассчитанная на доверчивость и великодушные большевиков, удалась: он подошел под самые стены крепости, не потеряв ни одного аске-

ра. Хал-Ходже было известно, что у защитников крепости нехватит патронов даже на истребление безоружных киргизов, по его приказанию расположившихся под крепостными стенами.

Когда были готовы высокие тополевые лестницы и Хал-Ходжа еще диктовал письмо с предложением сдать ему крепость без боя, со стороны Сулейман-Тахта послышались торопливые беспорядочные выстрелы. По звукам легко можно было определить, что стреляли из английских винтовок.

— Нима бу? (Что это?) — строго спросил Хал-Ходжа, одевая на палец снятый было перед тем перстень-печатъ с большим бирюзовым камнем. По узбекскому поверью, кольцо с бирюзой предохраняет всадника от несчастных падений с коня.

Хал-Ходжа прислушался: выстрелы затихли. К юрте подскочил юзбаши второй сотни с пулеметной лентой на голове вместо чалмы и крикнул, нагибаясь в седле:

— Хал-Ходжа-атà, Зазбон кегян! (Отец, Зазвонов появился!).

— Ялган! Кайдà Зазвон? (Врешь! Где Зазвонов?) — сердито закричал Хал-Ходжа, выходя из юрты и всматриваясь по направлению вытянутой руки юзбаши.

По ровному месту, мимо мазаров, огибая подножие Сулейман-Тахта, рысью двигались кавалеристы, казавшиеся на расстоянии игрушечными. Их было около трех сотен. Видно было, как сначала отстала небольшая группа всадников с двумя коротконосыми, на низких колесах, орудиями, снимая их с передков. Затем еще отстали всадники, раз'езжаясь в разные стороны и снимая с лошадей станковые пулеметы. Остальные конники, не меняя направления, рысили к лошадине, по которой пролегла дорога в горы. В последнем ряду тянули за поводья отстающих двух лошадей с завьюченными пулеметами.

Это спешил на помощь защитникам Оша летучий партизанский отряд слесаря Зазвонова, всего лишь три часа тому назад растрепавший в урочище Гуль-бас басмаческую шайку Араванского курбаши и теперь вступивший в

город с неожиданной стороны. Зазвонов вел отряд к ложине, чтобы закупорить басмачам выход в горы и зажать их между крепостью и своим отрядом.

Хал-Ходжа, как старый опытный зверь, которого не один раз пытались ловить, сразу понял, что хотел сделать Зазвонов. С удивительной быстротой, благодаря басмаческой привычке не расслышать коней, личная охрана Хал-Ходжи собралась и была готова к бою. Русская сотня замешкалась, по пяткам и десяткам присоединяясь к бестолково кричащему с коня юнкеру Поплавскому. Из ближних садов выскакивали верховые алайские киргизы и, торопливо нахлестывая лошадей, собирались в одну тесную конную толпу. Некоторые всадники, возбуждая себя и товарищей, стреляли вверх из винтовок и револьверов.

Хал-Ходжа приказал обер-лейтенанту Цоггеру немедленно, пока было время, выкатить пулеметы вперед и обстрелять партизан до рукопашной схватки. Но ни пулемета, ни военнопленных на крыше под тутовником не было. Исчезли также и люди, приставленные Цоггером к пулемету у его личной юрты. Обер-лейтенант при помощи Иоганна Клеве и двух аскеров выкатил из-за кустов пулемет, лег в пыль, прицелился и нажал спусковой рычаг. Замок был вынут, пулемет не работал. Цоггер бросил его и побежал в кусты к своей лошади, которую держал в поводу Иоганн Клеве. Хал-Ходжа нетерпеливо тронул своего черного жеребца, рассчитав, что успеет сблизиться с партизанами прежде, чем они пустят в ход завьюченные еще пулеметы. Выскочив из-за рощи, басмачи бросились к ложине наперерез партизанам.

— Ур! Ур! (Бей! Бей!) — хрипло рычал Хал-Ходжа, пожелтев в лице и наотмашь занося на скаку свою короткую кривую шашку с белой рукояткой.

Впереди Хал-Ходжи, огораживая его полукругом, неслись аскеры личной охраны, вывертывая белки и вскрикивая:

— Ур! Ур!

Позади, нагоняя аскеров, пылила по сухой траве русская сотня во главе с По-

плавским и Цоггером. Иоганн Клеве, продираясь сквозь конные ряды, старался не отставать от Цоггера. На значительном расстоянии от русских одной громадной толпой двигались шесть сотен хорошо вооруженных алайских киргизов в обход левого фланга партизан.

При сближении с Хал-Ходжей наиболее нетерпеливые партизаны высунулись намого вперед, растянувшись редкой, неровной цепочкой. Хал-Ходжа легко смял неосторожных смельчаков, и аскеры, опьяненные успехом, зарыкали с новой силой:

— Ур! Ур!

— Ура! — закричали русские кулаки из-под Джелал-Абада, ободряя басмачей.

Медленно набирая скорость, к месту схватки двигалась кричащая конная толпа алайских киргизов с обнаженными короткими клинками, легкими на взмах и быстрыми на удар.

Последние секунды отделяли партизан от озверевших от крови и превосходящих их числом басмачей. Обнаженный клинок и револьверный выстрел — вот все, чем могли партизаны встретить врага.

Хал-Ходжа видел затруднение партизан и стремился во что бы то ни стало решить дело быстрой рукопашной схваткой.

Но пулемет все-таки заработал. Застрочила отчетливая длинная очередь, внося неожиданную ясность, порядок и ритм в хаос криков, топота и одиночных выстрелов. С крайней плоской крыши бил невидимый среди зелени и никому неизвестный пулемет. И только воткнутая в глинобитный забор длинная палка с красной тряпкой указывала приблизительное место пулеметного гнезда.

Шестьсот алайских киргизов, которые должны были решить исход боя, сразу замедлили движение, потом передние всадники повернули назад, и вся конная толпа отхлынула, оставляя на сухой траве барахтающихся лошадей и людей. К ложине побежал кривоногий киргиз в меховой шапке, бросив раненую лошадь, клинок и английскую винтовку. Поднятой полкой халата киргиз закрывал голову от пулеметной очереди.

Хал-Ходжа, увидев бегство алайских киргизов, круто повернул всадников своей личной охраны и скрылся в лошине. Весь удар конников Зазвонова обрушился на сотню Поплавского. Русские кулаки из-под Джелал-Абада, не успев проскочить в лошину, повернули назад и бросились вплавь через Ак-буру. Но ни один из них не вышел на другой берег.

Как только безоружные киргизы, стоявшие у крепости, поняли, что Хал-Ходжа разбит, среди них поднялась невообразимая паника. Бросая выцветшие зеленые знамена, серпы и дубины, киргизы ринулись к лошине, где уже были установлены пулеметы. Ни приказ, ни угрозы — ничто не могло остановить киргизов. Они лишь видели перед собой обратный путь на родину, который кто-то хотел им преградить.

Зазвонов мог бы расстрелять это скопление — только лишний раз закипела бы вода в пулеметных кожухах. Ни сейчас и ни после никто не осудил бы его за уничтожение живой силы врага. Какой строгий судья осудит бойца, который в огне боя забыл человечность?

Слесарь Зазвонов, бывший фронтовик, командир партизанского отряда, с волнением смотрел на приближающуюся конную лаву. У киргизов были худые коричневые лица, из продырявленных халатов, давно потерявших цвет, торчали клочки грязной ваты — это была живая, потрясающая нищета. Всадники стремительно неслись к горному проходу: у каждого была надежда, что если девять упадут под огнем, то он — десятый — прорвется на родину.

Когда головные конники были всего лишь в ста шагах от прохода, Зазвонов на глазах у киргизов приказал откатить пулеметы с дороги. И киргизы, увидев это, еще стремительнее и уже сплошным потоком хлынули в узкий каменный коридор, приплюскивая к стенам дико воющих всадников.

Зазвонов спокойными глазами провожал уходящих киргизов — они уже никогда больше не поднимут руку против туртынчи (большевиков). Они теперь видели живых туртынчи.

У крайней мазанки с плоской крышей, с которой бил во время боя пулемет, спешилось несколько партизан. Австро-германцы прыгивали с крыши на траву, здоровались с партизанами и угощали их крепкими английскими сигаретами.

Бывшие военнопленные горячо уговаривали партизан найти свежих лошадей и ударить в погоню за басмачами.

— Товарищ, — уговаривал венгерец Кароле Басш, порывисто прикладывая к груди испачканную в пулеметном масле руку. — Товарищ, надо держать эдин немецки офицер!



Отступающие басмачи, свирепо работая камчами, гнали в гору взмыленных храпящих лошадей.

Кроме двух сотен личной охраны Хал-Ходжи, среди отступающих были Цоггер с Иоганном Клеве и юнкер Поплавский с десятком русских кулаков из-под Джелал-Абада.

Во время отступления юнкер Поплавский выронил клинок. Цоггер потерял каску и теперь ехал, обвязав свою рыжую голову носовым платком. У лошади Цоггера слегка задело пулей заднюю ногу, но она шла хорошо и лишь на каменных россыпях слегка прихрамывала.

На первом повороте, где дорога стала подниматься еще круче, Хал-Ходжа приказал юзбаши первой сотни своей личной охраны сделать засаду на случай преследования. Юзбаши, высокий худой узбек из Ханабада, неохотно подчинился приказанию и велел спешиться полусотне аскеров, которые залегли на повороте, высматривая далеко видную щебенчатую дорогу, идущую под гору на Ош. Юзбаши знал не хуже Хал-Ходжи, что Зазвонов не бросит своих партизан под пули в узкие горные проходы.

Когда Хал-Ходжа достиг кишлака Мады, то он не нашел там ни кишлачных аксакалов, ни пятидесятников, ни англичанина, куда-то таинственно пропавшего вместе со своими сипаями. Беднота, попрятав скот и людерну, отси-

живалась в запертых домах. Казалось, кишлак внезапно обезлюдел.

В воротах дома Миркамиль-бая Хал-Ходжу встретил не хозяин, а седобородый старик в чалме, наблюдающий за его женами. В маленьких глазах курбаши загорелся зловещий огонек. Старик взял повод левой рукой и, низко склонившись, правой придерживал медное стремя сходящему с коня Хал-Ходже.

Отдав старику взмыленного жеребца, Хал-Ходжа прошел на большую открытую террасу с высоким потолком из цветных балок. На террасе торопливо разостлали перед ним мохнатый коврик и бросили на него охапку длинных овальных подушек. Один телохранитель кинулся раскуривать чилим, другому Хал-Ходжа велел собрать людей на военный совет. Под видом военного совета Хал-Ходжа хотел проверить настроение своих подчиненных.

На дворе шумели прибывающие всадники, размещая коней и ругаясь друг с другом за место в тени.

Около садового дувала два басмача заспорили из-за добытого где-то снопа сухой люцерны. Конюх Хал-Ходжи подошел и отобрал у них рассыпающийся сноп для лошади командующего. Оба басмача, поддерживая друг друга, изругали конюха и неохотно расстались со снопом.

Аскеры вели себя совершенно свободно, непочтительно забыв о своем курбаши, сидевшем на подушках тут же на террасе. Хал-Ходжа хмуро наблюдал за развязным поведением аскеров, почему-то въехавших во двор, и его бледное черношерстное лицо становилось все более зловещим.

На террасе собрались оставшиеся многочисленные помощники курбаши. Здесь же были, приглашенные для счета, и юнкер Поплавский с двумя своими подручными и Цоггер в сопровождении Иоганна Клеве. Несколько запоздавший юзбаши первой сотни, высокий худой узбек из Ханабата, сел по правую руку от Хал-Ходжи, подложив под себя шелковую подушку, валявшуюся зря. Юзбаши второй сотни с пулеметной лентой на голове вместо чалмы, сидевший слева от Хал-Ходжи, ревниво по-

морщился, — он, как и все, показывая почтение к курбаши, сидел на голых досках пола.

— Мы думали и решили: надо итти на Кара-Дарью, — сказал Хал-Ходжа. — Как пойдем? — спросил он собравшихся.

Все молчали, придумывая путь отступления, который сошелся бы с желаниями Хал-Ходжи. Советчики ждали, чтобы командующий подсказал им еще что-нибудь, после чего можно было бы сказать, попадая в цель наверняка.

Юзбаши первой сотни сделал нетерпеливое движение рукой, он желал говорить.

— Айтин (говори)! — сказал Хал-Ходжа.

Юзбаши предложил другой план. По его мнению, более полезным для дела ислама был противоположный путь: итти через кишлаки Кунгур-язы и Араван на соединение с мусульманской армией Мадамин-бека. Все внимательно слушали первого помощника Хал-Ходжи, известного своим бесстрашием в бою.

Хал-Ходжа не хуже юзбаши знал этот безопасный и короткий путь. Но, слившись с полчищами Мадамин-бека, он навсегда потерял бы свою неограниченную власть. Жить — это значило властвовать, все остальное для Хал-Ходжи было хуже смерти.

— Как пойдем на Кара-Дарью? — повторил он свой вопрос, прерывая юзбаши и этим давая ему понять, что план его неприемлем.

Но юзбаши продолжал доказывать собравшимся военную выгоду от соединения с армией Мадамин-бека.

Бледное лицо Хал-Ходжи стало желтым.

— Басс инды! (Довольно!) — крикнул он, вставая и нащупывая за поясным платком рукоять револьвера. Когда стало тихо, Хал-Ходжа сказал юзбаши: — Походка твоя пусть будет скромная. Говори голосом тихим, потому что самый неприятный из голосов есть голос осла. Схватите изменника исламу!

Телохранители взяли за руки бывшего первого помощника Хал-Ходжи.

С нескрываемым торжеством отдавал последние распоряжения юзбаши второй сотни с пулеметной лентой на голове вместо чалмы: самый сильный его соперник был в его руках.

Обезоруженного бывшего юзбаши повели через двор в сад. Телохранители на ходу закатывали ему длинные рукава стеганого халата, чтобы надежнее было держать за руки. По растерянному лицу бывшего помощника командующего видно было, что он еще не совсем понял, зачем и куда его уведут.

Как только Хал-Ходжа ушел с террасы во внутренние покои дома, юнкер Поплавский велел своим подручным немедленно выступить из кишлака. Цоггер приказал Иоганну Клеве перевести лошадей во двор караван-сарая.

Лошади в караван-сараях были поставлены Цоггером в самый дальний угол за глинобитную перегородку. Он приказал Клеве закрыть ворота караван-сарая и наблюдать за происходящим на площади. Цоггер опасался, что Хал-Ходжа пошлет отыскать его и прикажет следовать за собой.

Вскоре через площадь пропылили всадники Поплавского, направляясь к дороге, ведущей на Джелал-Абад. Через несколько минут из ворот дома Миркамил-бая стали выезжать басмачи, вытягиваясь на площади рядами по четыре всадника. Едва басмачи успели выстроиться, как в воротах показался на черном вычищенном жеребце Хал-Ходжа, в сопровождении телохранителей. Хал-Ходжа выехал в голову отряда, и всадники, пересекая площадь наискось тронулись к дороге на Кара-Дарью. По правую руку от Хал-Ходжи ехал юзбаши с пулеметной лентой на голове вместо чалмы, а по левую—вновь назначенный вторым юзбаши, уч-курганский узбек с красивым и смирным лицом.

Когда басмачи проезжали совсем близко от закрытых ворот караван-сарая, Цоггера схватила нервная лихорадка: руки у него задрожали мелкой дрожью. В щель было видно, как совсем рядом мелькали влажно блестящие на солнце, еще не высохшие от пота крупные гнетых, карих и рыжих лошадей.

Наконец, промелькнули последние ряды, и глухнущие в глубокой пыли звуки копыт стали затихать, удаляясь. Цоггер приказал Иоганну Клеве открыть ворота караван-сарая.

Цоггер торопился. С минуты на минуту в кишлак могли войти партизаны. Иоганна Клеве он оставил на часах у ворот караван-сарая, а сам пошел в чайхану. Очень быстро он вернулся с бородатым человеком в полосатом халате и в желтой чалме, которого Иоганн Клеве видел еще вчера утром у Цоггера в юрте. Это был проводник, таджик из Дарваза, возвращавшийся из Ферганы на родину и по сходной цене нанятый Цоггером до афганской границы.

Пропустив в ворота таджика, Цоггер остановился перед Иоганном Клеве и повелительно сказал:

— Иоганн, пойди...

Цоггер еще не придумал, куда должен пойти Клеве, но приказательный тон уже обогнал его мысли. Чтобы люди повиновались ему, он старался не показывать им сомнения в том, что они могут повиноваться. За это первобытное правило, известное каждому взводному, он держался, как за открытие, принадлежащее только ему.

Иоганн Клеве старательно вытянулся и замер с винтовкой к ноге, ожидая приказаний от офицера генерального штаба, с которым он сейчас отбудет на родину.

Цоггер послал его в чайхану за холодной кипяченой водой. Когда Клеве ушел, Цоггер бросился в конец двора, к лошадям. Он на ходу расстегнул и сбросил с себя шинель. Таджик подал ему теплый ватный халат и азиатскую шапку, опушенную мехом. Поверх халата, стянутого в поясе шинельным ремнем, Цоггер справа повесил маузер, слева — полевой бинокль. Осмотрев рану в ноге у своей лошади, он снял с нее седло и переложил его на лошадь Иоганна Клеве. Все было готово. Цоггер еще раз проверил переметную суму, набитую пачками английских бледнозеленых кредиток, цену которым не знал Хал-Ходжа, и сказал по-узбекски таджику-проводнику:

— Кет (Пошел)!

Таджик вывел свою лошадь из потайного закутка, заваленного жердями и сухими стеблями хлопчатника.

В воротах появился Клеве, неся в руках пиалу и бутылку с остуженным зеленым чаем. Он быстрым, расторопным шагом подошел к Цоггеру и протянул ему пиалу. Цоггер грубо отстранил руку Иоганна Клеве и тронул лошадь. Клеве выпустил пиалу и схватился за повод. Он узнал свою лошадь; он понял, что Цоггер уезжает и не берет его с собой.

— Вы не можете меня обмануть, герр обер-лейтенант. Вы обещали меня взять на родину, — сказал Клеве, не отпуская повода и просяще глядя на Цоггера.

— Я приказываю тебе остаться. Отпусти лошадь! — закричал Цоггер, вырывая повод.

Лошадь затопталась, вскидывая передними ногами. Но Иоганн Клеве не только не послушался, а бросил бутылку и ухватился за повод другой рукой. Клеве не знал, как ему надо поступить, и чувствовал, что сердце делает какие-то страшные движения, мешая дышать и говорить.

— Я спас вам жизнь... Вы должны...

Во имя родины... — задыхаясь, говорил Клеве.

Оглянувшись на таджика-проводника, Цоггер сказал ему по-узбекски, показывая на ворота:

— Кет (Пошел)!

Таджик тронул свою лошадь.

Цоггер вынул маузер и повторил свое приказание:

— Отпусти лошадь!

Увидев направленный на него сверху револьвер, Клеве как бы опомнился. Он бросил повод и, отступив несколько шагов назад, сорвал с плеча винтовку и дернул затвор к себе. В серых напряженных глазах его засветилась бесповоротная решимость.

Раздался сухой револьверный выстрел. Клеве согнулся и упал лицом вниз. Он не чувствовал боли, но его что-то не пускало и с нечеловеческой силой придавливало к земле, как это бывает в кошмарном сне, когда мысль отчетлива и прозрачна, а члены не повинуются ей. Лежа, слабеющими руками Иоганн Клеве дослал патрон в ствол и выстрелил.

Но на дворе караван-сарая уже никого не было, и лишь в открытых воротах клубилась легкая, пушистая пыль.

